

**Владимир Кожедеев**



**Воронин и часы**

Владимир Кожедеев

**Воронин и часы**

«Автор»

2026

## **Кожедеев В.**

Воронин и часы / В. Кожедеев — «Автор», 2026

Петербург, конец XIX века. Сентябрьское утро встречает город плотным, вязким туманом, который, кажется, никогда не рассеется. У кромки Невы городской находит старые серебряные часы. Стрелки застыли на 3:17. Рядом — ни следов, ни свидетелей, ни объяснений. Илья Андреевич Воронин — бывший чиновник прокуратуры, человек, который пять лет назад построил блестящее обвинение против невиновного, и с тех пор носит в себе груз этой ошибки. Он уже не служит, не ищет дел, не верит в свою правоту. Но часы находят его сами — как приговор, как вызов, как последнюю возможность искупить прошлое. Воронин погружается в расследование, которое приводит его в дом влиятельного промышленника Карпова — человека с безупречной репутацией и стальными глазами, за которыми скрывается давняя тайна. В доме на Литейной кипят страсти: сын ненавидит отца, жена давно мертва душой, слуги говорят шёпотом, а по ночам в коридорах слышится странное тиканье. Угрожающие записки, убийство поверенного, фальшивые улики и заговоры

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	10
Глава 3.	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Владимир Кожедеев

## Воронин и часы

### Глава 1.

Петербург просыпался неохотно, словно знал, что день этот ничем хорошим не кончится.

Над Невой висел туман — не тот, утренний, прозрачный, что рассеивается к полудню, а плотный, сырой, вязкий, какой бывает только в конце сентября, когда воздух уже не отличить от воды. Он стелился по поверхности реки, задирался к гранитным парапетам, облизывал чугунные решётки и оставлял на них мелкие, как испарина, капли. Фонари горели тускло, с желтизной, будто стыдились своей слабости перед этим влажным, всепроникающим холодом. Свет не рассеивал тьму, а лишь обозначал её границы — оранжевые круги на сером, и за каждым таким кругом начиналось уже не утро, а вечная петербургская полночь.

Город не спал, но и не бодрствовал — он находился в том промежуточном состоянии, когда реальность смешивается со сном, и человек, вышедший на улицу, не может поручиться, что он не видит сон. В этом промежутке, между фонарным светом и туманом, легко было потерять себя. Или найти чужую тайну.

Набережная была пуста. Лишь изредка, где-то в глубине города, просыпались звуки: скрип колёс по булыжнику, глухой окрик извозчика, ляг железных ворот — но все они доносились приглушённо, будто через вату, и тонули в тумане, не успев долететь до воды. Казалось, город задержал дыхание, прислушиваясь к чему-то, что должно было произойти. Или уже произошло.

Городовой Ефим Степанович Тихонов стоял на посту у третьего устоя моста уже четвёртый час. Шинель его отсырела насквозь, воротник набряк и тяжело давил на затылок, сапоги хлюпали при каждом шаге. Он был из тех нижних чинов, кто давно перестал всматриваться в лица прохожих и научился глядеть под ноги — чтобы не споткнуться о вывороченный булыжник, не наступить в лужу с угольной гарью, не угодить в выбоину, которых на этой набережной с каждым годом становилось всё больше. Ефим Степанович нёс службу безо всякой надежды на происшествие, потому что в таком тумане даже вор не выйдет на дело — не видно ни зги, и пальцы коченеют так, что замок не откроешь. Воры, как и честные люди, предпочитали в такую погоду сидеть дома, запершись на все засовы.

Именно поэтому, когда он увидел у самой кромки воды, почти у кромки чугунной тумбы, небольшой тёмный предмет, он сначала решил, что это корка хлеба или обрывок газеты, выброшенная волной. Или просто тень — мало ли теней рождает этот проклятый туман? Но подошёл ближе, присел на корточки, и сердце его ёкнуло — не от страха, а от странного, почти суеверного трепета: предмет был слишком правильной формы, слишком тяжёлым лежал в воде, и рябь огибала его плавно, не сдвигая с места. Вода принимала его как своё, но не уносила — словно он был якорем, прикованным к этому месту.

Он вытащил часы. Карманные, серебряные, потемневшие до черноты, с тонкой гравировкой по крышке — витиеватый узор, похожий на переплетённые листья или старинный вензель, который в полумраке казался то ли инициалами, то ли заклинанием. Цепочка обвилась вокруг корпуса, словно кто-то нарочно обмотал её, прежде чем расстаться с вещью — не бросил в сердцах, а положил, зная, что она будет найдена. Ефим Степанович повертел часы в ладонях, прислушался — механизм молчал. Откинул крышку: стрелки застыли на без четверти четыре. Точнее — на 3:17, если считать по-современному. Странное время, не круглая цифра, не полчаса, не четверть. Семнадцать минут третьего — кто запоминает такие минуты? Только тот, для кого эта минута стала последней. Или первый.

Рядом — ни следов. Намокший гранит не держит отпечатков. Ни обрывков ткани на тумбе, ни сломанного каблука, ни пятна крови, которое не смыло бы дождём. Только часы. И тишина. И этот тягучий, как патока, туман, который словно создан был для того, чтобы скрывать чужие тайны.

Ефим Степанович поднялся, сунул находку в карман шинели и перекрестился — машинально, по привычке, которую сам не мог объяснить. Часы лежали у бедра, холодные и тяжёлые, и казалось, что от них исходит не металлический, а какой-то иной холод — тот, что пробирается не сквозь шинель, а сквозь самую кожу, до костей. Городовой оглянулся на Неву. Туман колыхнулся, и в нём на мгновение почудилась фигура — высокая, тёмная, без лица. Без лица, но с руками — длинными, висящими вдоль тела, как у покойника. Но моргнул — и фигуры не стало. Только вода, только камни, только часы в кармане, отбивающие несуществующий ритм.

«Померещится же», — пробормотал Ефим Степанович и, сплюнув в воду, решил: надо идти к приставу. А пристав — он человек занятой, и в такие туманные утра у него одно желание — завалиться на диван с газетой и не высовывать носа. Но часы эти — они слишком хорошие для кармана городского, и слишком плохие — чтобы их просто выбросить. Тут что-то не так. Тут что-то, от чего веет не просто бедой, а тем особым петербургским холодом, который бывает только перед чем-то необратимым.

Он пошёл по набережной, и шаги его гулко отдавались в пустоте. Туман смыкался за спиной, и ему казалось, что кто-то идёт следом — не отставая, не приближаясь, держа ровный шаг. Ефим Степанович оборачивался дважды, но никого не видел. Тогда он ускорился, и часы в кармане тяжело качнулись, будто напоминая о себе. «Время вышло», — вдруг подумал он, и сам испугался этой мысли. Откуда она? Он же не знает, что с этими часами. И не хочет знать. Но знание уже пришло. Оно стояло за спиной, дышало ему в затылок сырым туманом и ждало, когда он повернётся и встретит его лицом к лицу.

Илья Андреевич Воронин не спал с половины четвёртого.

Это была его давняя, мучительная привычка — просыпаться задолго до рассвета и лежать в темноте, глядя в потолок, где плясали отсветы от уличного фонаря. Он не мог сказать, что его мучает бессонница; нет, он спал, но сон его был лёгок и чуток, словно у зверя, который каждую минуту готов вскочить и бежать. Пять лет прошло с тех пор, как он в последний раз спал спокойно, и пять лет — срок немалый, но для Воронина он пролетел как один бесконечный день, в котором не было ни утра, ни вечера, только серая петербургская бесконечность. Он знал этот город как свои пять пальцев — каждый переулок, каждую трещину на стене, каждый запах, который просыпается на рассвете: уголь, сырость, конский навоз, свежий хлеб из пекарни на Малой Морской. Но знал он его и с другой стороны — как город, который никогда не прощает, который помнит всё и ждёт своего часа.

Он сел на кровати, потёр лицо ладонями. Кожа была сухая и холодная, пальцы дрожали — не от слабости, а от той внутренней дрожи, что поселилась в нём после того дела. Он не пил, не курил, не искал утешения в женщинах, потому что знал: утешение — это ложь, а ложь он больше не мог себе позволить. Он мог позволить себе только точность. Только факты, только даты, только имена и цифры, которые нельзя переиначить. Всё остальное — туман, ложь, выдумка, которой он уже однажды поверил и которую оплатил чужой жизнью.

Илья Андреевич зажгёт свечу — керосиновую лампу он не любил, слишком ярко, слишком желто; свечной свет был мягче и честнее. Оделся не спеша: нижняя рубашка, крахмальный воротничок (тугой, как совесть), чёрный сюртук, жилет с серебряной цепочкой, на которой, впрочем, не было часов — он перестал носить часы после того дня. Время для него теперь измерялось не стрелками, а количеством шагов, слов, пустоты между ними. Иногда он считал вдохи, иногда — капли дождя по стеклу. Всё это было точнее и честнее, чем любой часовой механизм, который можно завести и остановить по желанию.

Перед зеркалом он задержался на мгновение. Лицо его было тем, что принято называть «интеллигентным»: узкое, с резко очерченным подбородком, высоким лбом и глазами серыми, слишком светлыми, почти бесцветными на вид. Но если взглядеться, в них можно было разглядеть ту особенную петербургскую прозрачность, которая бывает у людей, долго глядевших на Неву зимой — когда лёд трещит, и сквозь него видна тёмная вода. Смотреться в такие глаза было неловко, потому что казалось: он видит тебя насквозь, но сам не открывается. И никогда не откроется, потому что у него внутри — та же нельская вода, холодная и бездонная.

Блокнот лежал на столе — в потёртом кожаном переплёте, с закладкой из старого билета, с выцветшими чернильными пятнами на обложке. Воронин открыл его на чистой странице и вывел пером, старательно, как ученик: «22 сентября 1896 года. Ожидание. Петербург». Это была его утренняя привычка: записывать дату и одно слово, которое определяло его состояние. Иногда это было «Тревога», иногда — «Тишина», иногда — «Пустота». Сегодня он написал «Ожидание», и сам не понял, почему. Он ничего не ждал. Но пальцы его, выводившие буквы, дрожали чуть заметно — как дрожит стрелка компаса перед бурей. Как дрожит игла над картой, когда корабль подходит к неведомой земле.

Он вышел на кухню, заварил чай — в стакане, как было заведено, с кусочком сахара вприкуску. Съел сухарь, запил. Всё это он делал механически, потому что тело требовало, а мысли были далеко: они бродили по городу, по набережным, по тёмным дворам-колодцам, где эхо шагов звучит громче голосов. Воронин не искал дела — он ждал, что дело само найдёт его. Так уже было однажды, пять лет назад. Тогда оно пришло в виде пухлой папки с документами, и он прочитал её так, как умел: быстро, точно, безжалостно. И ошибся.

Он закрыл глаза, и перед ним снова встала та картина: камера, серая, с высоким окном под потолком, через которое падал косой луч света — единственный, который видел этот человек в последние часы своей жизни. И тело чиновника — тело человека, которого он, Воронин, отправил туда своим заключением. Чиновник не успел доказать свою невиновность. Документы нашли через месяц — слишком поздно. Воронин тогда пришёл к вдове, принёс извинения, но та не открыла дверь; он слышал только, как она плачет за филёнкой, и этот звук был хуже любого проклятия. С тех пор он дал себе слово: не верить никому, даже самому себе. Особенно — самому себе. Потому что он знал: его собственный разум может быть самым опасным врагом, когда он убеждён в своей правоте.

Он вышел из дома — невысокого серого здания на Малой Морской, с облупившимся фасадом и вечно мокрой лестницей, где на каждой ступеньке лежала лужица, отражавшая серое небо. В кармане лежал блокнот, в другом — трость с набалдашником из слоновой кости. Он не хромал, но трость была ему нужна, чтобы отбивать шаг: раз-два, раз-два, как маятник. Это успокаивало. В такт шагам можно было думать, не сбиваясь с ритма, и Воронин любил этот ритм — он был как единственная постоянная в мире, который постоянно менялся и лгал.

На улице было холодно, сыро, привычно. Извозчики уже выехали, но ехали медленно — лошади боялись поскользнуться на мокрой брусчатке, копыта их звонко цокали, но звук глох в тумане. Фонари догорали, тусклые и жалкие, и город понемногу просыпался: где-то хлопнула дверь, где-то залаяла собака, где-то зазвенел колокольчик у входа в булочную. Воронин пошёл пешком, к Неве. Он не знал зачем — просто ноги сами несли его к воде, как будто там, у гранитных парапетов, было то, что он искал. Пятый год он искал что-то, чего не мог назвать. Возможно, правду. Возможно, прощение. Возможно, новую ошибку, которая заставит его забыть старую.

Он вышел на набережную, когда туман уже начинал редеть, но не рассеиваться — просто становится чуть прозрачнее, как занавес перед спектаклем. Воздух пах рекой — тиной, мокрым камнем, металлом, — и этот запах был для Воронина знакомее любого другого. Он вырос в Петербурге, знал его запахи с детства, и каждый из них был как страница старой книги, которую он мог прочитать с закрытыми глазами. И тут он заметил городского — тот стоял

у тумбы, мял в руках фуражку и растерянно озирался. Увидев Воронина, он вытянулся по стойке «смирно», хотя Воронин уже не был при исполнении — он был частным лицом, без чина, без звания, просто Илья Андреевич, человек, которого знали в лицо, но боялись называть по имени.

— Ваше высокородие, — сказал городской и осекся, потому что не знал, как теперь обращаться. — Господин Воронин. Я вас знаю. Вы... вы тот самый, из прокуратуры.

— Бывший, — сухо ответил Воронин. — Что случилось?

Городской помялся, потом вытащил из кармана шинели часы — те самые, потемневшие, с цепочкой, — и протянул их на раскрытой ладони, как святыню или как улику. Рука его дрожала, и часы мелко подрагивали, будто жили своей жизнью.

— Нашёл. У воды. Стрелки стоят на 3:17.

Воронин взял часы, и у него перехватило дыхание. Не от холода — от того чувства, которое он хорошо знал: предчувствие. Оно пришло не как вспышка, не как озарение, а как тяжесть в груди, как гранитная плита, которая медленно опускается на сердце. Он повертел часы, посмотрел на гравировку, на вензель, показавшийся ему смутно знакомым, на застывшие стрелки. Внутри механизма было тихо — мертво. Словно время остановилось в ту самую секунду, ровно в 3:17, и больше не двигалось. Но он знал: время никогда не останавливается. Оно только притворяется.

— Только часы? — спросил Воронин, не поднимая глаз.

— Только они. Ни бумажки, ни клочка.

— Вы их не заводили?

— Боже упаси, — перекрестился городской. — Побоялся.

— И правильно, — сказал Воронин и вдруг почувствовал, как внутри шевелится то самое холодное, липкое, опасное чувство, которое он так ненавидел и так ждал все эти пять лет. — Это не потерянная вещь. Это послание. Часы оставили здесь нарочно. Нарочно, чтобы их нашли. Нарочно, чтобы прочитали.

Он сунул часы в карман, рядом с блокнотом, и они легли тяжело, как приговор. Туман на Неве качнулся, и Воронину показалось, что он видит на противоположном берегу тёмную фигуру — высокую, неподвижную, глядящую прямо на него. Она стояла у самой воды, и туман огибал её, не касаясь, как будто она была не из плоти, а из того же камня, что и набережная. Но он не стал всматриваться. Он знал: фигура исчезнет, как только он моргнёт. Петербург любит такие игры. Он любит пугать и обманывать, и Воронин научился не верить своим глазам, потому что они лгали ему не раз.

— Ступайте к приставу, — сказал Воронин городскому, пряча часы глубже в карман, туда, где их не достанет туманная сырость. — Скажите, что я берусь за это дело. Если он спросит — скажите: часы найдут своего хозяина. Или хозяин найдёт их.

Городской кивнул и пошёл, прибавив шагу, но через несколько метров обернулся, хотел что-то сказать, но передумал и только махнул рукой, словно отгоняя дурное предчувствие. Воронин остался стоять у парапета. Ветер с Невы ударил в лицо, влажный, солёный, с запахом тины и камня. Он вытащил блокнот, открыл на свежей странице и написал чернилами, на весу, почти не глядя: «3:17. Гранит. Начало».

Он не знал, с чего начнёт. Но знал одно: это дело — не о краже и не об убийстве, во всяком случае, не только о них. Это дело о времени, которое кто-то остановил. И о человеке, который не хочет, чтобы оно пошло дальше. Кто-то поставил эти часы у кромки воды, как свечу у изголовья, как памятник — в память о чём-то, что случилось ровно в 3:17. И этот кто-то хочет, чтобы правда всплыла. Или, может быть, наоборот — чтобы утонула окончательно.

Он закрыл блокнот и пошёл к Литейной — туда, где жил Карпов. Потому что вензель на часах он узнал. Это был вензель того самого дома, в котором пять лет назад, задолго до ошибки Воронина, уже случилась одна несправедливость. Карпов тогда выиграл суд. И его

противник проиграл всё — состояние, репутацию, а потом и жизнь. Вензель на часах был старый, выгравированный ещё до той истории, но Воронин помнил его слишком хорошо — он видел его на документах, которые изучал по делу о растрате. Тогда он не придавал этому значения. Тогда он был уверен в своей правоте. Теперь он знал, что правда — это не то, что лежит на поверхности, а то, что спрятано в глубине, как на дне Невы.

Воронин шёл и считал шаги. Раз-два, раз-два, раз-два. Часы в кармане не тикали, но казалось, что они всё равно отмеряют время — не его, а чьё-то чужое, чужое и очень важное. Он шёл мимо домов, мимо закрытых ставней, мимо редких прохожих, которые кутались в воротники и не поднимали глаз. Шёл через площадь, где памятник стоял одиноко и мокро, через мост, под которым текла тёмная вода, несущая в себе тайны не хуже тех, что скрывались в кармане Воронина. И каждый шаг его был как удар часового маятника — размеренный, неизбежный, ведущий к чему-то, что ещё не случилось, но уже дышало за спиной.

«Только бы не ошибиться снова», — подумал он и тут же отогнал эту мысль, потому что она была страшнее любого тумана. Страшнее, чем фигура на том берегу. Страшнее, чем застывшие стрелки. Потому что ошибка была его личной, его собственной, и он нёс её в себе, как носит человек камень на шее — невидный для других, но тяжёлый, как вина.

Город провожал его тишиной. Фонари гасли один за другим — наступало утро, серое, мутное, с небом, похожим на старую простыню. Но Воронин шёл не в утро, а в прошлое — в тот день, когда Карпов сидел в своём кабинете и подписывал бумаги, которые стоили человеку жизни. И в этом прошлом уже что-то зашевелилось, как поднимается со дна Невы тина — медленно, неотвратно, готовая захватить живых.

Он остановился перед домом на Литейной. Высокий, строгий, с лепниной, потемневшей от копоти и сырости, с окнами, за которыми уже зажглись свечи — хотя утро давно наступило. Воронин поднялся на крыльцо, взялся за медную ручку двери и замер. В кармане лежали часы. Стрелки по-прежнему стояли на 3:17, и он знал, что сейчас, когда он переступит порог, время снова начнёт идти — но уже по-другому, в том ритме, который задаст не город и не Нева, а тайна, которую он взялся разгадать.

Он открыл дверь, и тишина дома на Литейной хлынула ему навстречу — тягучая, как туман над Невой, и такая же непроницаемая. Но за этой тишиной уже слышалось: голоса, шаги, ссоры, которые вот-вот прорвутся наружу. И Воронин вошёл, чтобы услышать их.

Часы в кармане не тикали. Но Воронин знал: они ждут. И он ждал вместе с ними.

## Глава 2.

Дверь открылась не сразу.

Воронин нажал на медную ручку, но та не поддавалась — словно кто-то внутри держал её с той стороны, прислушиваясь к дыханию за порогом. Он подождал, чувствуя, как сырость улицы медленно просачивается под воротник, и нажал снова — сильнее, настойчивее. И тогда дверь поддалась, мягко и бесшумно, как будто её и не запирали вовсе, а только притворяли, проверяя, войдёт ли гость, осмелится ли нарушить ту тягучую, ватную тишину, что стояла за ней.

Перед ним открылся вестибюль — высокий, с колоннами из искусственного мрамора, которые желтели от времени и копоти. В воздухе стоял плотный, многослойный запах: воск, которым натирали паркет, полированное дерево, старое серебро, едва уловимая горечь от угольных печей и — что-то ещё, тёплое и сладковатое, похожее на сушёные травы, которыми здесь, видимо, перебивали запах сырости. Пахло так, как пахнут дома, где живут богато, но без радости, где каждая вещь стоит на своём месте не потому, что так удобно, а потому, что так положено. Где каждый предмет — свидетель, а не слуга. Где мебель помнит больше, чем хозяйка.

Лакей — высокий, сухой, с лицом, напоминающим старую пергаментную бумагу, — бесшумно возник из боковой двери. Он был одет в строгий чёрный сюртук, накрахмаленный до звона, с белоснежным галстуком, завязанным идеальным узлом, и смотрел на Воронина с той особой, выученной вежливостью, которая в Петербурге означала одно: здесь не рады гостям, особенно незваным, но правила приличия не позволяют выставить их за дверь до того, как будет названа причина визита. Лакей был из тех слуг, что видели всё, но никогда ничего не видели, и его лицо было бесстрастным, как стена, за которой скрывалось больше, чем он мог бы рассказать.

— Их высокородие господин Карпов принимает по делам до одиннадцати, — сказал лакей, и в голосе его не было вопроса — только констатация факта, отточенная годами повторения. — Вы не записаны. Смею ли я поинтересоваться, вы по какому делу?

— Передайте, что пришёл Илья Андреевич Воронин, — ответил тот спокойно, доставая из кармана визитную карточку — старую, с выцветшим текстом, но всё ещё действительную, с тусклым гербом прокуратуры, который уже никто не проверял, но который всё ещё открывал двери. — Бывший чиновник прокуратуры. По частному делу.

Лакей взял карточку кончиками пальцев, словно боялся испачкаться о чернила, и исчез за той же дверью, из которой появился. Воронин остался стоять в вестибюле, слушая, как где-то в глубине дома тикают часы — настоящие, большие, напольные, с маятником, который качался размеренно, как дыхание спящего. И этот звук был ровным, спокойным, совсем не похожим на мёртвую тишину часов в его кармане. Здесь время шло, как и положено, минута за минутой, но Воронину казалось, что он слышит в этом тиканье что-то другое — какой-то сбой, едва заметную заминку, будто маятник спотыкался на каждом третьем взмахе, будто само время в этом доме давало сбои.

Он осмотрел вестибюль. Лепнина на потолке изображала амуров и гирлянды — лепнина из тех, что в Петербурге делают на заказ итальянские мастера, но уже лет двадцать как никто не обновлял позолоту, и фигурки амуров казались болезненными, с серыми лицами, как у тех, кто слишком долго живёт в сырости. Они тянули свои пухлые руки к пустоте, но никто не подавал им ветки или виноградные гроздья — они держали лишь пыль, скопившуюся за десятилетия. Зеркало в тяжёлой дубовой раме висело напротив двери — тёмное, с пятнами амальгамы на углах, и в нём отражался только тусклый свет керосиновой лампы, стоявшей на консольном столике. Электричества здесь не было. Воронин отметил это про себя — значит,

Карпов экономит, или парадная зала, о которой он слышал, находится глубже, в той части дома, где приём гостей требует большего блеска. Но здесь, в этом преддверии, царил полумрак, в котором лица и вещи теряли свои очертания, становясь тенями.

Лакей вернулся быстрее, чем ожидалось — быстрее, чем можно было бы объяснить обычной вежливостью. В его шагах Воронин уловил лёгкую торопливость, которую тот тщетно пытался скрыть.

— Господин Карпов примет вас в кабинете, — сказал он, и в голосе его мелькнуло что-то похожее на удивление. — Прошу следовать за мной.

Они прошли через анфиладу комнат, и Воронин отмечал каждую деталь — как хороший счетовод, который привык проверять цифры, не доверяя ни одному нулю. Паркет в гостиной был натерт до блеска, но в углах, под тяжёлыми портьерами, скопилась пыль — её не вывели, только прикрыли, словно кто-то торопился или не хотел, чтобы пыль оказалась на виду. Мебель была дорогой, но старой — бархат на креслах вытерт до бледно-сиреневого оттенка, а на спинках диванов виднелись потемневшие от времени пятна, которые не могли скрыть даже чехлы. Здесь жили не для себя, а для памяти — или для видимости. Или для того, чтобы скрыть, что внутри, под этой роскошью, всё давно истлело.

В кабинет они вошли через высокую дверь из тёмного дуба с бронзовыми накладками. И здесь, в этом кабинете, запах воска и полированного дерева становился почти осязаемым — он смешивался с табачным дымом, с запахом старой кожи переплётов и ещё чем-то горьким, химическим, похожим на проявитель в фотографической мастерской. Воронин не сразу понял, что это запах страха — тот самый, который выделяют люди, когда их загоняют в угол, когда стены смыкаются, а выхода нет. Запах адреналина и пота, смешанный с дорогим одеколоном, который не мог его перебить. Кабинет был большим, с высокими окнами, затянутыми тяжёлыми гардинами, которые не пропускали серый утренний свет. Вместо него горела настольная лампа с зелёным стеклянным абажуром, которая отбрасывала резкий, контрастный свет, делая лица угловатыми, а тени — чёрными, как чернила.

Карпов сидел за столом — массивным, письменным, с инкрустацией по краям, изображавшей дубовые листья и желуди, с медными уголками, которые были начищены до блеска, но в углублениях уже начала проступать зелень. Он был сед, но седина его была не белой, а стальной, с синеватым отливом, как у людей, которые сидят не от возраста, а от напряжения, от долгих бессонных ночей, когда единственная мысль — как удержать то, что уже ускользает. Лицо его — крупное, с тяжёлой челюстью и глубокими складками у губ, как у изношенной маски, — было тем, что называют «волевым», но Воронин заметил мелкую дрожь в пальцах, которыми Карпов постукивал по столу, и эту дрожь нельзя было скрыть никаким самообладанием. Пальцы его были унизаны перстнями — золотыми, с печатками, — но Воронин видел, что под ними кожа побелела, натянулась, как струна, готовая лопнуть. Он был одет в чёрный домашний сюртук, без галстука, воротничок расстегнут — что для человека его положения означало либо крайнюю степень небрежности, либо крайнюю степень тревоги, которую он даже не пытался скрыть от слуг. Слуги, должно быть, уже всё видели.

— Илья Андреевич, — сказал Карпов, и голос его был низким, с хрипотцой, но ровным — он явно привык держать себя в руках. — Я не ожидал вас. Думал, вы оставили службу. Думал, вы уехали из Петербурга, как некоторые.

— Оставил, — ответил Воронин, садясь в кресло, которое лакей пододвинул к столу. Кресло было глубоким, мягким, и Воронин почувствовал, как оно обволакивает его, словно пытается удержать. — Но привычки остались. Я здесь по делу. Частному.

Карпов нахмурился. Складка между его бровей стала глубже, почти чёрной, как шрам, и Воронин заметил, как на лбу выступила испарина — мелкая, но заметная при этом резком, зелёном свете лампы.

— Частному? — переспросил он, и в голосе его послышалась настороженность. — Полагаю, вы не к адвокату меня пришли записывать. Дел у меня с адвокатами достаточно, и все они — не к добру.

Воронин медленно, с той особенной неторопливостью, которая давалась ему ценой огромных усилий, вытащил из кармана часы и положил их на стол между собой и Карповым. Серебро потемневшей крышки тускло блеснуло при свете настольной лампы — здесь, в кабинете, уже было электричество, и это был единственный источник света, мягкий, желтоватый, но равномерный, без теней, которые так любят прятаться в углах. Часы легли на красное сукно стола, и это пятно серебра на тёмно-красном выглядело как капля крови или как закрытый глаз, который всё видел, но молчал.

— Эти часы сегодня утром нашёл городской у кромки воды, на набережной, у третьего устоя моста, — сказал Воронин, глядя прямо в глаза Карпову. — Стрелки застыли на 3:17. Гравировка на них, как мне кажется, совпадает с вензелем вашего дома. Я хотел бы услышать ваше мнение.

Тишина в кабинете стала абсолютной. Даже напольные часы за стеной, казалось, замерли, хотя Воронин знал, что они продолжают тикать — просто звук их затерялся в этой тягучей, вязкой паузе. Карпов смотрел на часы так, будто перед ним была змея, которая могла ужалить в любую секунду, или призрак, который явился из прошлого, чтобы напомнить о том, что он так хотел забыть. Его пальцы перестали постукивать по столу — они сжались в кулак, побелели на костяшках, и эта дрожь, которую Воронин заметил раньше, теперь перешла в мелкую, почти незаметную тряску, словно внутри Карпова билась та же мёртвая стрелка, застывшая на 3:17, и она стучала по рёбрам изнутри, как молот.

— Это не мои часы, — сказал Карпов, но голос его дрогнул — всего на полтона, на неуловимую ноту, но Воронин услышал. Услышал то, что скрывалось за этой дрожью: не отрицание, а мольбу. — Я никогда не носил серебряных. Только золото. И только английской работы.

— Я не спрашиваю, ваши ли они, — мягко сказал Воронин. — Я спрашиваю, знаете ли вы, чьи они. И что означает цифра. Три семнадцать.

Карпов перевёл взгляд с часов на Воронина, и в этом взгляде была сталь — но сталь с трещиной, та самая, которую нельзя скрыть, потому что она идёт изнутри, от самого сердца. Он смотрел на Воронина, но видел не его — он видел что-то за его спиной, что-то, что стояло там, в тени, и ждало, когда он произнесёт правильные слова.

— Не знаю, — сказал он, и это была явная ложь. Слишком быстрая, слишком гладкая, как бумага, которую нарочно разгладили, чтобы скрыть помятости. Но в этой гладкости была фальшь — она была слишком идеальной, как накрахмаленная салфетка, за которой ничего нет. — Я никогда не видел этих часов. Кто их оставил — не имею понятия. И прошу вас, Илья Андреевич, не тратьте моё время на пустые догадки.

— Вы позволите мне осмотреть кабинет? — спросил Воронин, вставая. — И, возможно, дом?

Карпов хотел было возразить — на лице его вспыхнул гнев, быстрый и горячий, как спичка, которая загорается на секунду и тут же гаснет, — но он подавил его с той же быстротой. Подавил и кивнул, не глядя на Воронина, а разглядывая часы на столе, как будто они могли сами ответить на вопросы, которые он боялся задать. В его взгляде было что-то похожее на признание, но Воронин знал: Карпов не признается. Он будет молчать, пока молчание не станет громче крика.

— Делайте что хотите, — сказал он глухо, и в голосе его слышалась усталость, которая не имеет возраста. — Я занят. Проводите господина Воронина, Максим.

Лакей, который бесшумно стоял у двери, шагнул вперёд, но Воронин остановил его жестом.

— Я осмотрюсь сам, — сказал он. — Вам не нужно меня сопровождать.

И он вышел из кабинета, оставив Карпова одного с часами. Но прежде, чем закрыть дверь, он услышал — едва слышно, почти на грани восприятия, — как Карпов прошептал что-то, похожее на «Опять». Одно слово, но в нём было столько боли, что Воронин на мгновение замер. Опять. Значит, это уже случилось. Значит, Карпов ждал этого. Или боялся. Или знал, что это придёт, и молился, чтобы оно пришло позже — или не пришло вовсе.

Дом на Литейной был больше, чем казался снаружи.

Воронин пошёл по анфиладе, открывая одну дверь за другой, и каждая комната была как сцена в театре, где актёры уже ушли, но декорации остались — и каждая декорация хранила память о том, что здесь случилось, или о том, что случится завтра. Он прошёл гостиную, где в камине ещё тлели угли, хотя утро было холодным и сырым, и запах дыма смешивался с запахом воска, создавая тот особый аромат, который бывает только в домах, где живут с оглядкой на прошлое. Прошёл столовую с длинным столом на двадцать приборов, где на скатерти лежали следы от бокалов — круги, которые никто не убрал, и на них, как на часах, застыли капли воды, похожие на слёзы. Прошёл малую гостиную, где стоял рояль с закрытой крышкой, и на нём лежали ноты, но с таким слоем пыли, что видно было: к роялю не прикасались уже много месяцев. На пюпитре лежал открытый нотный лист с сонатой Бетховена, но клавиши были холодными и немymi, как будто музыка умерла здесь давно.

Он остановился в небольшой комнате, которая, судя по всему, служила буфетной. Здесь пахло сухарями, старым вареньем и сыростью, которая просачивалась из подвала — сладковатый, затхлый запах, который бывает в местах, где хранят вещи, которые уже не нужны, но которые жалко выбросить. На стене висела карта Петербурга — старая, ещё с обозначениями, которые не использовались уже лет двадцать: исчезнувшие улицы, переименованные проспекты, мосты, которых уже не было. Карта пожелтела, облупилась по краям, и на ней, в самом углу, кто-то карандашом, почти стёртым, нарисовал крест. Воронин присмотрелся — крест был поставлен в том месте, где дом Карпова выходил на Неву. Или, где начиналась та набережная, на которой нашли часы.

Он уже хотел выйти, когда услышал голоса, они доносились из соседней комнаты, и голоса были громкими, почти крикливыми, с той особенной нотой, которая бывает только во время семейных ссор, когда уже не важно, кто слышит. Когда слова становятся оружием, а стены — свидетелями, которые не умеют молчать. Воронин замер у двери, и голоса врезались в тишину дома, как ножи.

Он подошёл к двери и приоткрыл её — настолько, чтобы видеть, оставаясь незамеченным, в тени коридора, где стоял запах сырости и старого дерева.

Комната была небольшой, уставленной книгами и бумагами, похожая на домашний кабинет, но не парадный, а тот, где хозяин уединяется, когда хочет побыть один, — с узким диваном, заваленным папками, и с письменным столом, заваленным счетами. Там стояли двое: молодой человек в студенческом сюртуке — Карпов-младший, как догадался Воронин по сходству с отцом, — и женщина, которую он принял за супругу Карпова, хотя возраст её был трудно угадать: она выглядела одновременно и молодой, и уставшей, как будто время шло по её лицу вдвое быстрее обычного, оставляя морщины там, где им не положено быть, и тусклость в глазах, где должен был быть блеск.

— Я не могу больше! — кричал молодой человек, и в его голосе слышалась та же дрожь, что и у отца, но без сдерживающей силы. Он метался по комнате, сжимая и разжимая кулаки, и его шаги были беспорядочными, как у зверя в клетке. — Он снова врёт, снова делает вид, что ничего не происходит! Ты же видишь, мама, он боится! Но он никогда не признается! Никогда!

— Тише, Николай, — говорила женщина, и голос её был тихим, почти мёртвым, как у тех, кто перестал надеяться на что-то хорошее. Она сидела на краю дивана, сложив руки на коленях, и пальцы её перебирали складки платья, словно чётки. — Соседи услышат.

— А пусть слышат! — крикнул Карпов-младший и стукнул кулаком по столу так, что чернильница подскочила и опрокинулась, заливая бумаги чёрными пятнами. Чернила расплылись по листам, поглощая цифры и слова, и Воронин подумал, что так, наверное, исчезает правда — её заливают чернилами, чтобы не видеть. — Пусть все знают, что он сделал! Что он сделал тогда, пять лет назад!

Воронин замер. Пять лет назад. Те же цифры, что и в его собственной памяти. Та же дата, которая преследовала его каждую ночь, стояла за спиной, как тень, которая не исчезает даже при свете дня.

— Ты не знаешь, что тогда было, — ответила мать, и в голосе её появилась сталь — тонкая, как лезвие, но острая, как бритва, которая может полоснуть, даже когда её не ждёшь. — Ты был слишком мал. И не смей говорить о том, чего не понимаешь. Ты не знаешь всего.

— Знаю! — закричал Карпов-младший и, развернувшись, выбежал из комнаты, чуть не сбив с ног Воронина. Он не заметил сыщика — просто промчался мимо, хлопнув дверью, и его шаги застучали по лестнице, сначала громко, а потом всё тише, пока не замерли где-то на втором этаже, поглощённые ковровой дорожкой и глухими стенами.

Воронин остался стоять в коридоре, глядя на полуоткрытую дверь. Он видел женщину — она стояла у стола, глядя на разлитые чернила, и руки её безвольно висели вдоль тела, как сломанные ветки. Потом она медленно, как автомат, взяла тряпку и начала вытирать лужицу — её движения были точными, но бессмысленными, как у человека, который делает что-то, потому что иначе не знает, куда деть руки. Она вытирала чернила, но они расплзались всё дальше, и Воронин видел, как по её лицу скатилась слеза — одна, единственная, упавшая на салфетку и растворившаяся в чернилах, как будто её и не было.

Воронин хотел войти, но передумал. Он отошёл от двери и пошёл дальше, потому что понял: здесь, в этом доме, правда не лежит на поверхности. Она спрятана, закопана, залита чернилами. И чтобы её найти, нужно копать глубоко. Нужно рыть, как археолог, снимая слой за слоем — ложь за ложью, улыбку за улыбкой, каждое слово, сказанное слишком громко или слишком тихо.

Он прошёл ещё несколько комнат, но ничего не нашёл. Только запахи — сырости, старого дерева, пыли и воска, — и тени, которые ложились на стены от затянутых гардинами окон. В одной из комнат он заметил фотографию: Карпов-старший в окружении семьи, с молодыми лицами, без этой стальной седины, без складок у рта. Рядом с ним стояла его жена — молодая, улыбающаяся, с книгой в руках. На обложке книги был тот же вензель, что и на часах. Воронин снял фотографию со стены, перевернул. На обратной стороне было написано: «1891 год. Литейная. Счастье». Счастье — и через пять лет после этой фотографии кто-то поставил часы на 3:17. Счастье — и пятнадцать лет спустя мать этого дома вытирала чернила со стола и плакала одна.

Он вернулся в кабинет Карпова.

Карпов сидел там же, в том же кресле, но теперь он смотрел не на часы — они лежали на столе, нетронутые, как будто к ним боялись прикасаться, — а на стену, где висел портрет. Воронин проследил за его взглядом и увидел: портрет был недавний, но изображённая на нём женщина — молодая, с тёмными волосами, и с глазами, которые смотрели так же, как смотрела жена Карпова, — была той самой женщиной, которую он видел в маленькой комнате. Но здесь, на портрете, она была другой: без этой усталой маски, с живым, почти дерзким взглядом, с лёгкой улыбкой, которая говорила: «Я знаю, что вы думаете, но вы ошибаетесь». Она держала в руках книгу, и на обложке книги был тот же самый вензель, что и на часах. Тот же самый, что и на сейфе в углу кабинета.

— Молодая госпожа Карпова? — спросил Воронин, подходя к столу. Карпов вздрогнул — он не слышал, как открылась дверь, — и повернулся к Воронину с выражением, в котором

читалось смятение. Человек, который не привык, чтобы его заставляли врасплох, но который всё время был застигнут врасплох в последние годы.

— Да, — ответил он коротко. — Моя жена. Когда мы только поженились. Это... это было пятнадцать лет назад. Совсем другая жизнь.

Воронин взял часы со стола и поднёс их к портрету. Гравировка на серебряной крышке, витиеватая, с переплетёнными листьями и инициалами, была точной копией вензеля на книге, которую держала в руках молодая женщина. Воронин посмотрел на часы, потом на портрет, потом снова на Карпова — и всё встало на свои места. Часы принадлежали не Карпову. Они принадлежали ей. Молодой, ещё не уставшей, ещё не потерявшей себя — той, которая была здесь пятнадцать лет назад, до того, как случилось то, что случилось. Той, которая улыбалась, стоя в этом самом кабинете, с книгой в руках, и держала в руках часы, которые сейчас лежали на столе, мёртвые, с застывшими стрелками.

— Ваша жена знает эти часы? — спросил Воронин, и голос его был мягким, но настойчивым, как рука, которая берёт за локоть, когда не хотят отпустить. — Она узнала их?

Карпов молчал. Его лицо было стальным, непроницаемым — и только глаза выдавали его. В них была боль. И ещё страх — не за себя, а за то, что вот-вот откроется, что вот-вот всплывёт на поверхность, как та тина со дна Невы, о которой думал Воронин, стоя на набережной. Страх, который невозможно спрятать за стальными складками, потому что он сияет в глазах ярче любого света.

— Это её часы, — сказал Карпов наконец, и голос его был хриплым, как у человека, который не пил воды много часов. — Она потеряла их давно, ещё до того, как мы поженились. Но я не знаю, как они могли оказаться у воды. Я не знаю, кто их принёс. Я не знаю, что происходит.

— Вы знаете, — сказал Воронин. — Вы знаете, что это значит. И я хочу, чтобы вы мне сказали, что это значит. Кто оставил их? И зачем?

Карпов посмотрел на него — и в этом взгляде была сталь, но теперь в ней не было трещин. Она была цельной, как лезвие, и она резала — резала правду, которую он так старательно прятал, резала воздух между ними, делая его плотным, как стена.

— Это не ваше дело, — сказал он, и голос его был резким, как удар хлыста. — Вы не слушайте. Вы ушли. И я прошу вас — оставьте это. Эти часы ничего не значат. Это старая, забытая вещь. И она не должна была вернуться. Она не должна была никому ничего напоминать.

Воронин хотел возразить, но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась жена Карпова. Она стояла, прислонившись к косяку, и в глазах её было то же выражение, что и у портрета — живое, почти дерзкое, но с оттенком боли, которую нельзя было скрыть. Она была бледна, как бумага, и пальцы её сжимали край платья, но голос её был твёрдым, как будто она репетировала эту сцену много раз.

— Время вышло, — сказала она, и голос её был ровным, без паники, как у человека, который давно ждал этого момента. — Ты знаешь, за что.

И она протянула руку — в ней была бумага, дешёвая, с неровными краями, с аккуратным, выверенным почерком, который явно старался скрыть свою личность. Бумага была мятая, как будто её сжимали в кулаке, и на ней, на углу, виднелось бледное пятно — след от слезы или от воды. Воронин взял письмо и прочитал его: «Время вышло. Ты знаешь, за что». Ни подписи, ни даты — только эти слова, семь слов, которые могли означать что угодно, но для Карпова, как понял Воронин, они значили всё. Всё, что он прятал, всё, что он отрицал, всё, что он пытался забыть.

Карпов встал из-за стола. Он был бледен, как бумага, и руки его дрожали теперь открыто — он даже не пытался их скрыть. Он смотрел на жену, и в глазах его была не злость и не страх, а что-то другое — вина, глубокая, давняя, заплесневевшая от времени, как старая вода в подвале. Он хотел сказать что-то, но слова застревали у него в горле, и он только открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег.

— Это игра, — сказал он наконец, но голос его дрожал. — Это чья-то игра. Я не знаю, кто это сделал, но это игра.

— Нет, — ответила жена, и голос её был твёрже, чем у него. — Это не игра. Это расплата.

Она повернулась и вышла из кабинета, и Воронин слышал её шаги — медленные, размеренные, как у человека, который больше не боится. Шаги, которые не оставляли следов на паркете, но оставляли след в воздухе, который Воронин мог почти осязать. В кабинете остались только они двое — Карпов и Воронин, — и часы на столе, которые по-прежнему показывали 3:17. И тишина, которая стала тяжёлой, как мокрый снег.

Воронин медленно подошёл к сейфу, стоявшему в углу — тяжёлому, стальному, с дверцей, на которой была та же гравировка, что и на часах, и на книге, и на письме. Он провёл пальцем по вензелю, и вензель был холодным — как гранит, как Нева, как застывшее время. Сейф был старой работы, с массивным колёсиком и ручкой, и Воронин заметил, что вокруг замка — свежие царапины, как будто кто-то недавно пытался его открыть без ключа. Или как будто его пытались закрыть, но не могли.

— Вам кто-то угрожает, — сказал Воронин, не оборачиваясь. — Это не воровство. Это личное. Кто-то знает, что вы сделали, и хочет, чтобы вы заплатили.

Карпов молчал. И в этом молчании было больше правды, чем в любых словах. Была та правда, которую нельзя произнести вслух, которую нельзя записать в блокнот, которую можно только носить в себе, как камень.

Воронин убрал часы в карман и вышел из кабинета. В коридоре он столкнулся с лакеем — Максимом, который нёс поднос с кофейным сервизом, но застыл, увидев Воронина, и кофейник дрогнул в его руке. Взгляд лакея был пустым, как у статуи, но Воронин заметил, как дрожат его руки — так же, как руки Карпова. Весь этот дом дрожал. Весь этот дом ждал чего-то, что должно было случиться. И оно случилось.

Воронин вышел на крыльцо, и холодный утренний воздух ударил в лицо — влажный, с запахом реки и камня, который он так хорошо знал. Он остановился, прижал ладонь к груди, где лежали часы. Стрелки по-прежнему стояли на 3:17. Но теперь он знал — они означают не время. Они означают дату. 17 марта — день, когда Карпов выиграл суд. День, когда его противник проиграл всё — состояние, репутацию, а через месяц и жизнь. День, когда началась эта история. День, который Воронин знал как свои пять пальцев.

— Пять лет назад, — прошептал он. — Пять лет назад. В тот самый год, когда я ошибся.

Он знал это дело. Он изучал его — тогда, когда ошибался в другом, когда сидел за своим столом и разбирал бумаги, и цифры складывались в картинку, которая оказалась ложной. Он знал, что Карпов был нечестен. Он знал, что противник был подставлен. Но он не мог доказать это — тогда. У него не было часов. У него не было письма. У него была только интуиция, которой он не доверял, потому что она уже обманула его однажды. Теперь часы и письмо говорили ему: кто-то другой знает. И этот другой решил, что время пришло.

Воронин посмотрел на Неву, которая блестела в утреннем свете — холодная, тёмная, бездонная, с мелкой рябью на поверхности, похожей на морщины на лице уставшей женщины. Часы в кармане лежали тяжело, как камень на груди, как та вина, которую он носил в себе все эти годы. И он понял: это дело — не о времени. Это дело о справедливости, которую кто-то решил восстановить. Или о мести, которая созревала много лет, как тина на дне реки, и теперь всплыла на поверхность, готовая поглотить всех, кто стоял на её пути.

Он пошёл по улице — и шаги его были такими же, как у той тени, что он видел в тумане. Раз-два, раз-два, раз-два. Маятник качнулся. И время пошло. Семнадцать минут третьего — или семнадцатое марта, — неважно. Важно было то, что кто-то начал отсчёт. И Воронин знал, что должен успеть до того, как стрелки остановятся окончательно.

Он повернул за угол и исчез в утреннем тумане, оставив за спиной дом на Литейной — с его дрожащими слугами, с его распахнутыми дверями, с его тайной, которая ждала, чтобы её нашли. Или чтобы её похоронили навсегда.

## Глава 3.

Воронин вышел из дома на Литейной, но не ушёл далеко.

Он остановился в подворотне напротив, где стены были покрыты известкой, облупившейся от сырости, и откуда открывался вид на парадную дверь особняка. Это было его давней привычкой — не уходить, пока не увидишь, как дом дышит без тебя, как он выпускает воздух из своих комнат, как затягиваются раны после вторжения чужого. Он достал блокнот, прислонился спиной к холодному кирпичу, ощутив, как сырость просачивается сквозь пальто, и начал писать, выводя буквы с той тщательностью, которая была ему свойственна: «Карпов — отрицание, жена — письмо, сын — гнев. Лакей —? Горничная —?» Он поставил вопросительные знаки и посмотрел на окна особняка. В одном из них, на втором этаже, на секунду колыхнулась штора — кто-то смотрел на улицу, но отодвинулся, заметив его взгляд. Воронин не стал искать глазами фигуру. Он знал: те, кто смотрит в этом доме, никогда не показывают лица. Они смотрят из-за гардин, из-за притворённых дверей, из-за собственных улыбок.

Вместо того чтобы войти снова через парадный вход, он обогнул дом и нашёл чёрный ход — узкую дверь во внутреннем дворе, где пахло угольной гарью, мокрой золой и старой капустой из погреба. Двор был вымощен булыжником, неровным и скользким, с лужами, в которых отражалось серое небо. Дверь была приоткрыта, и из неё доносился голос — женский, молодой, срывающийся на всхлип, как будто человек пытался удержать слёзы, но они всё равно прорывались наружу, одна за другой. Воронин прислушался и узнал тот самый звук, который искал: голос горничной, которая говорила с кем-то вполголоса, но не могла скрыть дрожи. Это был голос человека, который видел что-то, чего видеть не должен, и теперь носил это в себе, как камень в груди.

Он вошёл в прислужную, где стоял запах щёлока, начищенной меди и мокрого дерева — тот особенный запах, который бывает в комнатах, где живут те, кто работает руками, но невидим для глаз. Стены были выкрашены в бледно-зелёный цвет, облупившийся в углах, на полу лежали потёртые половики, а на длинном деревянном столе стояли медные кастрюли, начищенные до зеркального блеска, но с тёмными пятнами от времени. Горничная — совсем молодая, лет восемнадцати, с бледным лицом, на котором выделялись глаза, слишком большие для такого худого лица, — стояла у стола и комкала край фартука так, что пальцы побелели на костяшках. Фартук был из грубого холста, когда-то белого, но теперь серого от частых стирок, и она сжимала его с такой силой, будто это была единственная вещь, которая держала её на плаву. Рядом с ней стоял поварёнок, мальчик лет двенадцати, в засаленном переднике, который смотрел на неё с испугом и тут же шмыгнул в угол, увидев Воронина, словно мышь, почуявшая кота.

— Простите, — сказал Воронин тихо, вынимая блокнот, — я не хотел пугать. Я — Илья Андреевич Воронин. Мне нужно поговорить с вами. Только несколько минут, я не отниму много времени.

Горничная подняла глаза, и в них был тот же испуг, что и у поварёнка, но глубже — тот, который сидит не на поверхности, а внутри, как заноза, которая въелась в плоть и не выходит, сколько её ни ковыряй. Она кивнула, не переставая теребить фартук, и Воронин заметил, что ткань уже измята до того состояния, когда её уже не разгладишь — так же, как измята была бумага с письмом, которое держала в руках жена Карпова. Это был один и тот же жест, одинаковый у двух разных женщин, связанных этим домом.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Акулина, — ответила она шёпотом, почти беззвучно. — Акулина Петрова. Я здесь горничной третий год, с апреля.

— Третий год, — повторил Воронин, записывая в блокнот. — Вы хорошо знаете дом? Всех, кто в нём живёт?

Она не ответила. Она смотрела на свои руки, которые продолжали сжимать фартук, и Воронин понял, что этот жест — не просто нервы. Это способ держаться на плаву, когда всё вокруг уходит под воду, когда пол проваливается под ногами, а стены смыкаются. Фартук был её якорем, её спасательным кругом, за который она цеплялась, чтобы не утонуть в том, что видела и слышала каждый день в этом доме — в его шёпотах, в его ночных шагах, в его закрытых дверях.

— Акулина, — сказал он мягко, стараясь, чтобы голос его не звучал как приказ, — я не из полиции. Я не пристав, не следователь. Я просто хочу понять. Вы видели часы? Те, серебряные, с гравировкой? Которые нашли у воды сегодня утром.

Она вздрогнула так сильно, что фартук выпал из рук, и она подхватила его снова, как падающую вещь, как ребёнок хватается игрушку, которая вот-вот разобьётся. Глаза её расширились, и в них мелькнуло то особенное выражение, которое Воронин уже видел у Карпова: смесь страха и узнавания. Она знала. Она знала о часах до того, как он их назвал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.